



СВЕТСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Роман

- I. ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
- II. ВОСПИТАНИЕ ОДНОЙ ЖЕНЩИНЫ.
- III. ВОСПИТАНИЕ СЕБЯ САМОГО.

I. ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В стране кузнециков

В детстве меня стригла тетка Настя большими овечьими ножницами. Парикмахерская в станице была, но детей туда не водили, чтобы не разбаловать. Библиотеку строили — на месте сломанной церкви. Позже я видел фотографию церкви, святого Пантелеймона, шедевр архитектуры. Я захватил заросшую сорными травами грудку церковного кирпича цвета лимона и начаток фундамента библиотеки. Это место пусто до сих пор, что сильно укрепляет позиции верующих, а библиотеку открыли в радостном, хотя и рыцарском, особняке «Орлиное гнездо». Осталось навсегда: среди булыжных строений мира библиотеки — драгоценные камни. Когда и как я выучился читать, не знаю, как не знаю, кто научил меня ходить, разговаривать. Помню, как лежал в деревянной люльке, подвешанной в хате за потолочный крюк, но не помню времени, когда бы не умел читать. Я не был вундеркиндом. Рос нормальным ребенком. В пять лет не давал концертов на фортепиано. В семь не обыгрывал гроссмейстеров. В десять не решал уравнений квантовой физики. К тому же я избежал акселерации — ее тогда вроде не

было. Я развивался естественно, медленно, как все высшие позвоночные, как природа, как трагедия, как позднее осеннее яблоко, на которое румянец кладет уже мороз.

Детство — страна кузнециков, а не пульсаров и кварков. Я запрягал кузнециков тройками и цугом в катушки от ниток, устраивал свирепые корриды с жуками и бабочками. Манящая терра инкогнита простиралась за ворохом розового хвороста, сваленного за колодцем. Туда меня не пускали — иногда дети падали в колодцы, влекомые магнитным блеском воды на страшной земной глубине. Чтобы ошеломить меня жестокостью жизни, достаточно было алого петуха, с клетотом расклевывающего червяка. Забавляли повадки муравья, что тащил горчичное семя на зимний запас. Стороной обходил кадку с дождевой водой — там обитала зеленая лягушка с выпученными глазами. Подсказать, что это царевна, было некому — на мою долю выпали не сказки, а старинные песни. С годами завалы хвороста — с помощью книг — стали бригам. Рядом мать вешала влажные подсиненные простыни — паруса пиратских кораблей. От хвороста, мягко пружинящего, пахло ландышем и повителю. Такая глубокая и густая синь надо мной потом никогда не повторилась — не новое, но вечно верное наблюдение. Как все нормальные дети, я омылся в чистых реках героики Вальтера Скотта, подолгу бывал Всадником без головы, искал на карте Таинственный остров, орал в зале Чапаеву: «К берегу! К берегу!», думал найти клад в ближних курганах. Влекли дали. С замирающим сердцем я пробежал от столба до столба — открылись новые картины. Столбы шагали

по горам за горизонт. Полдня бежал я по балкам под проводами, надеясь, что они приведут меня в неведомую страну. Привели в соседний хуторок, откуда привез меня домой попутный молоковоз на паре коней. Но, как все путешествия, бег мой не был бесплодным. Уже познал я величайшую добычу детей. Одних приносили дудаки, других находили в ближайших рощах, третьи самозарождались в капустных вилках. Меня, например, поймали в Подкумке — как раз на том месте, определил я позже, где у княжны Мэри закружилась голова. Стало быть, я скатился к людям водным путем с высочайшей горы Европы, с Эльбруса. Это уже пахло Буддой, Златоустом, пророком. Жестоко разочаровавшись в этой неправде, я долго и заносчиво оставлял за собой право заоблачного небожителя.

Труд рано стал существенной частью моего бытия. В голодовку мы выбирали в полях гнилые клубни, на путях в теплом шлаке — кусочки угля. В туманные дни разводили на берегу речки огонь, жарили добытых иволг и щуров, курили сухой конский навоз — кто постарше. Часами не вылезали из ледяного потока в жажде поймать форель или десяток пескарей величиной с палец, чтобы гордо принести их в семью на суп. Работа приучала смотреть не на сделанное, а на то, что оставалось сделать — вскопать, прополоть, выбрать. Никогда, как в те дни, я не жаждал так захода солнца, глупец! Ведь дни человеческие можно показать каждому простой пачкой календарей — у кого сколько. Зато, глядя на солнце, я заметил не хуже Гераклита, что все течет. Это подсказывали и облака, которые я мог трогать за кудри, шагая по скалистым тропкам. Одни плыли быстро, вытягиваясь и разрываясь на клочья. Медленно, как иные люди-долгожители, текли другие, вбирая в себя плоть погибших собратьев. Вечны новые образования в родниках, ульях, кострах...

Как христианина меня крестили, причащали, учили молитвам. Это не запомнилось. Первой религией в сознании остался ислам. В будущем зерна шариата — и адата — дали нежелательные всходы:

долго смотрел я на женщину как на полезное, но низшее существо. Получилось это так. Мы поселились в доме муллы-карачаевца на окраине кавказского городка, к которому примыкала наша станица. Мулла был стар. В молодости его дед украл мою прабабку, вернул за мерку серебра. С тех пор между нашими родами повелась дружба. Мы занимали дом, хозяева жили в прилепленной к скале сакле в углу двора, обнесенного многотонными валунами. В коллективизацию дом муллы реквизировали, но Шаулох ездил к Калинин, и дом вернули. В сакле господствовали предметы, доисторического быта: мотыги, шкуры, бронзовые котлы, очажный дым. Выше сакли, на горной полоске, жена и дочери муллы выращивали кукурузу — горский хлеб, мололи зерно на ручной каменной мельнице и из крупной муки варили вязкую желтую мамалыгу. Они водили коз, овец, коней, торговали сыром и шерстью, кормились и одевались натуральным хозяйством. В дальнейшем, в школе, я без особого труда постиг нормы и принципы жизни в эпоху общинно-родового строя, как увидел и его разложение. Младшая дочь хозяина, моя сверстница, с удовольствием поглощала пшеничный хлеб, тайно вынесенный ей мною.

Хлеб они боялись покупать в ларьке по той причине, что там одним ножом могут отрезать и хлеб, и свиную колбасу. Мать советовала им брать буханку целиком или круг лаваша или чурека, хлеба азиатского. Нельзя — колбаса все равно рядом. Когда мама варила казачий суп с салом, она предупреждала Таус, жену муллы, с вечера, и Таус уходила в аул — ее не просто могло стошнить от запаха свиного, она могла умереть. Мулла переносил вид сала, но старался смотреть мимо. В хорошую минуту, завтракая у нас, он как-то признался, что давным-давно наелся у русских свинины, посчитав ее во хмелю за баранину. Подвох открылся через месяц — и сразу начались рези в желудке, утихшие не скоро. Он был образованным человеком, знал русскую и арабскую литературу, до революции побывал в святых землях, видел камень Кааба, пил из

родника пророка. Пять раз на день становился на молитву, прервать которую не властен и конец света. Мечеть закрыта. Преданные исламу старики собирались, у нас в доме, становились на молитвенный ковер, свершив намаз из кумгана, и с печальным гневом читали Коран. В остальное время мулла пас своих лошадей, резал баранов, лечил страждущих, точил ножи и топоры — и все-таки был не у дела: многовековая вера трескалась на глазах, младшая дочь носит красный галстук, в проповедях его нужды не было, а он по складу души проповедник, мистик, поэт. Аудитория его до того поредела, что он стал толковать учение пророка мне. Брал меня в горы, рассказывал о травах и конях — научил меня гарцевать, много говорил о старой кавказской войне, когда отец его был нукером у важного хана. В гражданскую войну мулла сражался на стороне красных, но русские-белогвардейцы для него лишь неверные собаки, николаевские псы. Всё враждебное горцы называли николаевским по имени Николая Первого, так он им врезался в память. Даже Библию мулла называл николаевской, а родина ее не Петербург, не Россия. Видя мои способности к пониманию тайн пророчества, Шаулох очень жалел, что я не обрезанный. Под его руководством я стрелял из длинноствольного турецкого ружья, видом и весом схожего с современным противотанковым, и любовь к оружию во мне сохранилась навсегда. А также любовь к старинным книгам, эпосу, не без влияния Корана и Библии. Когда мы переселились на другую квартиру, я долго бегал на мусульманские бдения старого карачаевца. Мир полон вещей в себе. В мире нет бесполезных вещей. Мир удивителен всюду.

Бочка Франсуа Рабле

Но Библией моего детства стала другая книга. В буранные зимние дни, когда за окном все белым-бело, я забирался на горячую русскую печку и мастерил наганы-поджиги из медных трубок и деревяшек. Начиняя их головками спичек, глушительно палил в дерево или ворону.

Иногда мне обжигало пальцы, иногда лицо. Одно время страстью моей стало более примитивное и безотказное оружие — холодное. Сильнейшее впечатление детства — ножи горцев, не кинжалы, безобразно длинные, а ножи. Они носили их на поясе в деревянных ножнах, стянутых сыромятной кожей. Неширокие, светлые клинки. Рукояти из бычьего зеленовато-желтого рога, заклепанные красной медью. Я добыл себе такой же, постоянно точил на бруске и пользовался им, по примеру горцев, в хозяйстве и за столом. Особенно я любил срубать ножом сочные листья с бураков и капусты. Оружие рождает чувство силы и безопасности, но мне оно было необходимо затем, чтобы сравняться с героями книг — флибустьерами, баррикадниками, землепроходцами.

«Остров сокровищ», «Железный поток», «Левый марш» рождали романтику пистолетов и сабель. А стихи Пушкина и Лермонтова прямо назывались «Кинжал». С меньшей поэзией творил я фонарики. Консервная банка, проволочная дужка, зеркальце, стекло, свеча. Часами блуждал я в темноте осенних вечеров по кривым переулкам, выхватывая шаг пространства дробным треугольником тощего света. Я ступал тяжело, как стражник, высвечивая сырые каменные стены, голые деревья, лужи. И фонарики были продолжением книг. Также из книг я знал, что в природе существуют плащи — для отважных и таинственных людей. Плащей в станице не водилось. Были тулупы, пиджаки, как из кровельного железа, громоздкие «праздничные» пальто и так называемые костюмы. Разрезав по шву мешок, я получил отличный плащ, коротковатый, зато не скрывающий гибкую самодельную шпагу. Строить замок было бесполезно — замки в книгах идеальны мрачностью и величием. Поэтому главным становились книги. Вооружась ими, я лежал на горячем войлоке печки и под вой метели читал все подряд. Сухари и солонина, вода и порох — вот в чем нуждались герои-путешественники. И, читая, я грыз сухари, жевал бело-розовое сало с мороза, пил колодезную воду — и этим как бы сливался с героями книг до одинаковых

физиологических ощущений. Я и теперь никогда не пью именно как эту воду, будь она в золотом стакане, а всегда при питье воображаю родник в пустыне, пролизанную солнцем лужу в ущербе айсберга, запотевшее, от холода ведро продавца воды, и поэтому всегда пью с большим удовольствием, будто читаю новую книгу или пишу ее сам. Этого совсем не знают иные докладчики, бездумно пьющие из желтоватого теплого графина именно эту воду, которую я бы превратил в звонкий ручей Мраморного ущелья, в ключ лесной барбарисовой балки...

Книги в станице были редкостью. Каждую приходилось прочитывать по многу раз. Столько читают книги только их авторы — в процессе работы над ними, и впоследствии этот процесс стал как бы известным мне. У голодного зубы не болят. Лет в пять я читал «дедушкино» Евангелие, в семь — том Маркса, найденный на чердаке, в десять утолял голод школьной библиотекой, не брезгая и учебниками старшеклассников, и немало удивлял старшего брата подробным разбором образов лишних людей и характеристикой пейзажей в произведениях Тургенева, Толстого, Чехова. Не выучив своего урока, охотно штудировал учебник астрономии десятого класса. Брат, отличник в точных науках, прибегал к моей помощи в домашних сочинениях — я писал без ошибок, не зная грамматики, помня слова и фразы книг. Но шансы были уравнианы — и по сию пору математика враждебна мне, череп мой начисто лишен математической шишки, что печально в наши времена. Оглядываясь на пройденный путь, я вижу, что был счастливчиком, баловнем судьбы, любимцем рока. Сколько бы ни пересказывали мою биографию, нельзя скрыть потрясающего везения, удивительных совпадений, находок, встреч в моей жизни. Не только в рубашке, но, как прусский солдат, я родился сразу и в штанах и не с одной серебряной ложкой во рту, а с двумя золотыми. Я доволен своей судьбой, иду с бочкой, полной чудного вина, веду на золотой цепи зверя, охраняющего меня, получил блестящее светское воспитание, впереди единоборство

с чудовищами, поиски камня мудрости и корня жизни — что же бывает больше? Однако читающий эту книгу увидит, до чего благосклонным бывает счастье к людям, порой не заслуживающим его. Тому подтверждение мой пример. Ласковый перст судьбы настойчиво подталкивал меня к самым сладким кормушкам мира, а я их еще ничем не заслужил. Впрочем, они были открыты всем.

На нашей каменистой, похожей на яр улице жила белая ворона — легкая, как осенний пух, старушка. Ее считали малохольной. Вместо того чтобы разводить на своем изрядном участке лук, редиску, картошку, она выращивала под деревьями траву и близко не похожую на цветы или сено. Заброшенная судьбой на далекую окраину Юга России, она с наивной верой народников прошлого века миссионерствовала среди крепких хозяев-казаков и их дебелых жен, подвязанных шалетками, пахнущих укропом, рассолами, парным молоком с навозцем. Смолоду она проповедовала им общинную жизнь без замков и запоров. Но каждый хозяин с наступлением темноты спускал с цепи страшного кобеля и запирали ворота железной штангой. В старости Элеонора Владиславовна без большого успеха вербовала читателей в свою библиотеку. Хлебоборобам читать некогда да и не к чему. О чтении моя мать рассказывала: «Только сяду при лампе, свекруха начинает ворчать: это что — фотоген четыре копейки фунт, а она читать вздумала, хозяйка называется!». Все же мать много читала, особенно когда ходила мной. В то время ей нравились книги — чем толще, тем лучше, чтобы надолго хватило, как «Война и мир», «Обрыв», «Братья Карамазовы», что, видимо, и повлекло мою будущую эпичность, не модную в наш век. Но зато она не ела абрикосов в пятнышках, чтобы я не родился конопатым. Как-то Элеонора Владиславовна наметила меня, не без умысла Мойр, позвала в сад, разрешила потрясти сливу и сделала меня читателем, как мулла слушателем. Читал я и до этого, но больше играл в «пожара» под винным ларьком, впитывая брань и гнусь могучего русского языка, ставил подпуска на

лунной речке, разорял для коллекции птичьи гнезда, сидел в пещерах, которые вечными глазами смотрели на муравьиную суету нашей станицы, окруженной горами. Робко переступил я порог каменного под красной черепицей домика, пропахшего лавандой и чистым бельем, и более великолепного зрелища дотоле не видел: шесть стен полутемных от штор комнат волшебнo мерцали цветным сафьяном с золотым тиснением — тысячи книг, сокровищница Иерусалимского храма... Старушка важно завела на меня формуляр и задумалась. В графе «возраст» стояло: одиннадцать лет. Много позже я понял затруднения Элеоноры Владиславовны. Дом ее — улей с медом великой классики, художественной и философской. Детской литературы не было. Только после двадцати лет прочитал я стихи и сказки про слонов и тараканов, бармалеев и крокодилов, а также — Дюма, Жюль Верна, Купера, Майн Рида, одинаково любимых детьми и стариками. Не увлекаясь перечисленными писателями, Элеонора Владиславовна незаслуженно не включила в свое собрание и величайшего гения Англии, извечную главу всякой романтики, Вальтера Скотта. Не подари его нам природа — и мы бы недосчитались сотен, тысяч прекрасных поэтов с их бригадинками, высоким рыцарством и верой в лучшее. По счастью, его-то я прочитал еще до встречи с этой фундаментальной библиотекой, как и кое-что из вышеперечисленных авторов. Долго подступались мы к книжным бастионам. Теперь бы я дотянулся до верхних полок, а тогда, как на высоком обрыве, стояли таинственные, незнакомые имена — Плавт, Кольридж, Гибон... И радовался, как пленник, встретивший в чужом стане единоверца: Пушкин, Горький, Маяковский... Так по недосмотру бонны я читал в раннем детстве не только Апулея, Лукиана и Прево, но и учения Заратустры, индийских брахманов, средневековых философов-схоластов. Из прочитанных десяти слов с трудом улавливал связь между тремя-четырьмя. Замысловатые виньетки, заставки, звонкая желтоватая бумага, имена издателей на титулах —

Вольф, Маркс, Брокгауз и Ефрон... Уже по оформлению я мог определить ранг автора. Королевское величие светилось в коронных томах Данте, Шекспира, Пушкина... В одной книге я прочитал: «В стране Гана золото растет, как морковь, и его собирают на восходе солнца». Я испугался, что тайну могут прочитать и другие, и только святое отношение к книгам — отношение саморожденное — не позволило мне вырвать и спрятать от людского ока координаты золотых плантаций. Запись так поразила меня, что я, и понимая ее фантастичность, все же собирался бежать в Гану. Уложил в сумку нож, три помидора, сухари, кусок домашней колбасы, пустые бутылки (для золота), но какие-то внешние обстоятельства помешали мне отправиться в страну Гана. До сих пор моя беда в том, что слову, сказанному или написанному, я верю больше, чем реальному делу, хотя и понимаю эфемерность звуков. Мне важно не столько любить, сколько сказать о любви, и сказать поярче. Поэтому подлинный мир оказался в домике Элеоноры Владиславовны. Мой карачаевский нож померк — я стал мечтать о шпаге и куртке наследника датского престола. Видя поблекшую куриную шею Элеоноры Владиславовны с жалким седым пучком волос, я ощущал под своим латаным пиджачком тяжесть топора Раскольникова. Ничего не смысля в Данте, я каким-то образом уразумел, вероятно, из комментариев, что есть просто женщины, как станичные бабы, а есть Звезда, Любовь, Откровение. Также оказалось, что я играл в те же игры, что и благородный идалго из Ламанчи,— странствуя, сражался с чудовищами, освобождал несчастных, наказывал порок, и потому долговязый Рыцарь навсегда остался моим старшим братом. Добро: книги бульварные, случайные, сусальные, псевдоромантические, однодневная халтура, всего охотнее издаваемая под вывесками детских издательств, меня миновали. Зло: я поздно узнал легкую, развлекательную, простенькую литературу, и потому, когда впервые взялся за перо, для меня было естественным писать свою «Песнь о Роланде», «Логику» или

«Поэтику». Я литературу понимал как сплошные «Полки Игоревы».

Итак, в тот первый день моя добрая просветительница выбрала наконец книгу. «Гаргантюа и Пантагрюэль». Забавное сочинение одного веселого человека — мэтра Франсуа Рабле, доктора медицины, извлекателя квинтэссенции, французского монаха шестнадцатого века, инженера, поэта, дипломата, юриста, археолога, ботаника, математика, астронома, охотника, воина, моряка, повара, путешественника — впрочем, не берусь перечислить все, чем владел брат Франсуа. Добавлю лишь, что в пантеоне философов он возвышается на целую голову и над князьями мудрости.

Возможно, Элеонора Владиславовна рассчитывала не на текст, а на уморительные и не менее грустные иллюстрации Густава Дорэ. Когда приехавшие родственники умершей Элеоноры Владиславовны с молотка продавали библиотеку — соседи брали на хозяйственные нужды, я приобрел Бочку Франсуа Рабле, как позже называл книгу. Это исполинское волшебное дерево, в тени которого лежит Франция. Вначале я действительно с интересом рассматривал картинки. Если шла игра в войну, книга служила накатом блиндажа. Когда я увлекся гербариями, книга стала прессом. Сам Рабле рекомендует использовать листы книги в качестве пластырей и примочек от зубной боли. Наша квартирная хозяйка смотрела на книги с не менее респектабельной целью — она тащила их все подряд в вышитый шелком мешочек, прибитый в фанерной будочке, стоящей на задах огорода. Я тщательно уберегал книгу от мешочка, поскольку, по мнению Рабле, лучшая подтирка — гусята с нежным пухом. Спустя годы я признал эту книгу своим поэтическим букварем, а когда вошел в возраст неизбежного сочинения стихов, то сперва ограничился тем, что написал «Примечания к 78-й книге героических деяний и речений доброго Пантагрюэля». Понятно, это было робкое подражание неунывающим толстым обжорам, охраняющим свое вино, как брат Жан, от посягателей на мировое

господство, будь то Христос или мелкопоместный князек Пикрошоль. Сочинение Рабле состоит из пяти книг, но на титуле третьей «вышесказанный автор умоляет благосклонных читателей побережь свой смех до 78-й книги». На коллоквиуме при поступлении в вуз, на вопрос «любимая книга» я, не мигнув, назвал Рабле. У одного украинского хлопца была испанская грусть, но то в поэзии. А тут живой рабоче-крестьянский парнишка и галломания! Считаю, что я оригинальничая, меня хотели загнать в угол: почему? Да потому — ответил я словами Рабле, точно цитируя длинейшее послание Гаргантюа сыну о пользе мира, труда, наук, любви, товарищества... Чем снискал себе пятерку. Еще я сказал, что образу Пантагрюэля нет равных в литературе Возрождения, ибо это был король добрый, ни при каких обстоятельствах не выходящий из себя, его можно рассмешить или опечалить, но не разгневать — и это в мрачную, кровавую эпоху, когда короли как вепри терзали своих подданных. Жаль, что таких людей всегда было маловато. Да, в годы молодости я выучил книгу, подобно Вольтеру, наизусть — от беспрестанного чтения. Так я выполнил шуточное пожелание автора: боясь, и не без оснований, прекращения книгопечатания в смутные времена, брат Франсуа советовал людям бросить все дела и учить наизусть его книгу. Я и доньше читаю ее и переживаю похождения оравы добрых выпивох и мыслителей. До сих пор французские словари — военный, медицинский или кулинарный — все равно — составляют с помощью книги Рабле. И все же книга малоизвестна и по-настоящему не признана нигде, даже во Франции. Ни один французский президент не усвоил до конца мудрости и логики правления Гаргантюа. Многие смахивали на Пикрошоля, «завоевателя мира», кончившего не лучше Геббельса, как современные вояки кончат не лучше Пикрошоля — изгнанием, нищенством, гаданием на летающих блюдцах. А также вычесыванием блох у высокопоставленных собак, починкой капроновых чулок и прислуживанием в

ночных кабинетах Лас-Бегаса.

Марсианские игры

Читая великих поэтов, я постепенно роднился с ними, проникался единой тайной. Я смотрел на их портреты как на фамильные (Бунин), считал себя прямым отпрыском труверов и миннезингеров, бардов и менестрелей, аэдов и лирников, певцов и ашугов, сказителей и выдумщиков. Это было удобно. Чапек или Гашек доставляли одно наслаждение, ничего не требуя взамен. Они стали роднее и живее Васьки Сигачева, неистощимо творившего мне пакости и козни за то, что у меня большое светлое лицо, вечно я с книгой и знаю больше его, Васьки. Знания мои отличались своеобразностью. Учась в четвертом классе, я неплохо декламировал Овидия или Саади и получал двойку за незнание самой высокой вершины Европы, хотя она высилась рядом, за школьными окнами, двумя белыми палатками, откуда меня и принесло в дом матери. Стихи я писал на бумаге. Это беспокоило — непрочный материал, сгореть может, истлеть. Подумывал о медных пластинах — это надежнее, так римляне писали иудеям, — но где их взять? Пришло в голову писать на скалах зубилом или на худой конец масляной краской, как туристы писали свои имена, как на Кольцегоре было написано стихотворение Лермонтова. Провозившись однажды день с одним словом, я осознал, что скала плохой черновик: когда слово было выбито, явилось лучшее. Редактировать на скалах трудно. Я вновь снизошел до бумаги. Однако теперь я купил два пышных фотоальбома в бархатных переплетах, с плотной, матричной бумагой-картоном, с лебедями на обложках. Стихи записывал цветной тушью, рейсфедером, а не пером. Альбомы требовали соответствующего жанра. Пришлось перейти на «героические поэмы» и «трагедии в стихах». Заголовок одной помню — «Любовь и верность», а рядом лежал Шиллер — «Коварство и любовь». С трудом заполнив один альбом, я с благостной жутью обнаружил, что состою из другого материала, нежели мой старший

брат или Васька Сигачев. Они едят, ходят, решают задачи, любят коньки, молятся на велосипед, а я — сочиняю! Как Тит Лукреций Кар! Как Джордж Ноэл Гордон Байрон! Как Михаил Юрьевич Лермонтов, дом которого был неподалеку! Тень моего превосходства упала на мое же лицо. По примеру сверстников готовился я стать полярным летчиком, геологом, штурманом дальнего плавания. Как это звучало пленительно: дальнего плавания!

Пройти небеса, горы, моря и на часок вернуться в станицу, в особой одежде, ловить восхищенные взгляды разных докторов, лавочников, скоторезов. Однажды по улице шел курсант морского училища... И я понял, почему греки доказывали, что они видели бога вживе, рядом, что боги внешне похожи на нас, но это боги, светозарные, непобедимые, неповторимые, живущие за облаками Олимпа. Ревность к судьбе Амундсена рождала страшные мысли: отчего бы великому норвежцу не погибнуть раньше, еще не доходя до Южного полюса Земли — погиб же капитан Скотт! - и теперь я бы открыл этот полюс. Но жизнь готовила нам иные плавания, а какими мы стали капитанами, судить не нам.

Мои фонарики, стихи, сухари, оружие — поэзия, а поэзия — тоска по лучшему. Корень поэзии в детстве. Все пророки, поэты, учителя жизни по характеру дети. Детскость — становой хребет таланта, она сохраняет наивность, удивление, откровенность и веру, что влечет чистую любовь и нержавеющей ненависть. Когда опросили взрослых и детей, как поступить с преступником, дети оказались беспощаднее, то есть чище. Тогда я не думал воспитывать человечество своими откровениями, как не понимал и славы воспитателя. То была инстинктивная тяга к творчеству, заложенная не только в кроманьонце, но и в птице, вьющей гнездо. Детское творчество снисходительно сравнивают с корью и коклюшем. Следовательно, поэты навсегда остаются в счастливом возрасте детей, что и трагично, ибо однажды завеса падает с глаз. Трагично вообще остаться ребенком на всю жизнь — в лесу жизни дети беспомощнее, несмотря

на их героизм. Разве не ребенок стоял под пистолетом Мартынова? Озлобленный, капризный, беспомощный... Но пусть детство остается детским, ведь это о детях сказано: князя чувств, мыслители и поэты, кем бы они ни стали потом. Теперь много пишут и говорят об акселерации — ускорении роста, созревания. По этому поводу нелишне напомнить ответ Альберта Эйнштейна на вопрос, почему именно он создал теорию относительности. «Я медленно развивался, отставал в развитии от других». Иными словами, он сохранил пытлившую гениальность ребенка, когда ум его созрел для глубокой творческой работы, и его волновало то, мимо чего другие, «взрослые», давно проходили равнодушно, как мимо «детских» забав.

Детство вечная страна открытий и находок. Тут я хочу предупредить против некоторых материализованных находок. В базарный день, в густой толпе народа, я увидел в пыли белый узелок. Никто не поднимал его, не бил тревогу. С сильно бьющимся сердцем я наступил на него ногой и потом, будто меня всю жизнь учили этому, уронил к ноге тюбетейку и вместе с нею поднял узелок. Бежать сразу не хватало дыхания. Сковывал ноги страх, что сейчас меня начнут бить, как конокрада в старину, всей деревней. Постепенно выбрался из толпы — как она казалась мне враждебной! — надал ходу и за углом побежал откровенно. В глубине сада, в душистых кустах смородины, развязываю потный платок, связанный по-крестьянски. Грязные, потертые трешки, пятерки, рубли. Наверное, вырученные от продажи муки, вишни или шерсти — от полевого труда. Около ста рублей — велосипед и ружье сразу. Но как объяснить матери появление этих замечательных вещей? И куда для начала спрятать деньги? Потому и князя чувств, что еще не ладят с лицемерием, убивающим чувства. За обедом мать заметила мой подавленный вид и отсутствие аппетита от свалившегося богатства. Допрос с пристрастием увенчался успехом, Я вытащил из кармана проклятый узелок. Отец и брат удивились. Мать перепугалась смертельно. Она и находку считала кражей. Значит, ее

любимый сын вор. Зная не много методов воспитания, она впопыхах высекла меня отцовской пряжкой, требуя, чтобы я немедленно отнес деньги владельцу. Наконец, уразумев, что я этого сделать не могу, повела меня за ухо в милицию, отдала там деньги. Велосипед и ружье остались в магазине. С тех пор я избегаю богатых находок и роль матери сразу беру на себя.

Рано ли, поздно я заметил: школа, домашние задания, баня пожирают драгоценное время, которое можно употребить с большей пользой — на создание произведений литературы. Причину неудовлетворения человека жизнью способно изложить буквально в двух словах: стремление освободиться. Это формула универсальна для всей материи. Для чего, почему — это другие вопросы, но освободиться. Касательно поэтов ответ есть: освободиться, чтобы творить, ибо творят только свободные люди. Бросить школу прямо я не мог. Поэтому утром уходил из дома с сумкой и чернильницей, брал и завтрак, но там, где надо было сворачивать направо, круто брал влево — в горы. В прохладной пещере, скрытой зарослями бука, я лежал, как Таризел после жаркого дня в мечтах о возлюбленной, и строчил ступени в придуманный Город Машин, который теперь не кажется мне столь прекрасным. Славно потрудившись, творю свирели из ивы, собираю в ручьях разноцветные камешки, закусываю огурцом с хлебом и по самодельным солнечным часам успеваю домой, как бы после школы. Изумрудные балки, снеговые вершины, леса, туманы, ветер — все заставляло писать, творить, говорило о мире до того великолепном, что его повторение во вселенной невозможно. Слова лились из меня, как вода из переполненной чаши, но это вода, но она не передавала красоты окружающего. Тайком от самого себя прибегал к подсобному искусству, рисованию, в тех же альбомах, акварелью и карандашами. Как же мог я не писать и не рисовать, когда участвовал в ночных рыбалках с костром, ходил за калиной и орехами, скакал на коне по узким овечьим тропкам косогоров, слушал печальный шум осенних рощ, запуская к

самому солнцу бумажного змея! А походы за лазориками! А выкуривание лисят из норы! А кровавое злодеяние — убийство кабана во дворе — и не без моей помощи, хотя нож мой направляла не моя рука! Поэзия не только восхищение, но и искупление, очищение, молитва, просьба. Будущее стояло передо мной — глобусом, красным галстуком, стихами поэтов революции. И рядом прошлое — быки, арбы, горшки, и оно было не менее значительным. На пыльных чердаках мы находили обломки старинного оружия, в каменных стенках — патроны и николаевские медяки. Копали огород под кукурузу и отрыли пять хорошо смазанных винтовок. Гости-родственники донашивали каракулевые папахи, черкески и наборные пояса. За чарочкой тихо пели казачьи песни. Князя чувств все-таки не мыслители. Я пел блатную «Мурку», частушки Демьяна Бедного, новоказачьи песни, недолго продержавшиеся в народном репертуаре. Понадобилось стать взрослым, чтобы осознать неповторимую прелесть старинных песен. Брат заметил мое стремление освободиться от школы. Проследил мой утренний путь. Тайна пещеры и поддельных подписей в дневнике открылась. Не успела износиться моя тигровая шкура — и мать выпорола меня как следует моей же поэтической тростью, гибкой кизиловой ветвью с орнаментами. Почесываясь после «бани», я думал, стоит ли заниматься поэзией, если расплата за нее порка и публичное осмеяние. Тогда я не знал, что поэтам жизнь готовит наказания и пострашнее порки — позорный столб, кандалы, пулю. Я подумывал сменить перо на лопату и топор, помогая старшим хозяйствовать. Но дух соперничества и зависти сурово погнал меня вновь в писчебумажную лавку, торговца коей удивительно метко называли Хорьком. Я никогда не видел этого зверька, но представляю отлично.

В те дни я испытал блаженство дружбы. Ноэль Казанцев появился не сразу. Вначале я дружил с Андреем Шустовым, человеком большой внутренней обиды на взрослых — он жил у женатого брата, и невестка помыкала им. Шустов любил

гулять со мной под дождем в шелестящем школьном парке, уносился в мечтах в дальние страны, говорил о подвигах, но казался калекой, бескрылой птицей, ибо чаще всего мечтал о мести жене брата. Он страшно хотел стать взрослым и в свои двенадцать лет делал попытки влюбиться, понимая любовь как сожительство пары особой противоположного пола. Опровергнуть его было нелегко. Даже наш завуч Раиса Федоровна уже в солидном возрасте, разрешилась двойней лупоглазых ребятишек. Но я-то помнил другое — героев книг, которые стремились к возлюбленным отнюдь не ради сожительства. Не скажу, что я верил в непорочное зачатие девы Марии, но в некоторых вопросах оставался упрямым идеалистом, то есть на многое закрывал глаза, действовал методом отбора и домысла. Казанцев сухопарый, рыжий, воинственный, как скальд, появился однажды на третьем уроке. Новичок был одет просто, но изящнее нас и казался существом из другого мира. На его большой огненной голове чудился серебряный шлем. Потом я понял причину этого: Ноэль всегда держал дальние страны под рукой. Самая дерзновенная наша мечта мгновенно претворялась им в жизнь с помощью удивительно правдивого воображения. Он пристально оглядывал мальчишек, искал друга. На предпоследней перемене избрание состоялось. Не замечая ни Васьки Сигачева, ни силача Жорки Токарева, заносчиво прогуливающих у него под носом, он подошел ко мне и беззлобно, но решительно, как Сирано де Бержерак, предложил: «Любя стукнемся?» — «Когда?» — спросил я, заливаемый волнами страха и ненависти к рыжему пришельцу с иной планеты, хотя стукаться любя, без причины, так сказать, для закалки, было обычным нашим занятием. «Сейчас», — небрежно взглянул он на карманные часы с надписью на крышке, сразу поставив нас на плебейские колени: о часах мы и не мечтали. Мы взяли секундантов и пошли в угол парка, провожаемые восторженным ужасом девчоночьих глаз. Глаза играли не последнюю роль в поединке — пришелец

успел в упор посмотреть на златокудрую грузинку Тамару Лобженидзе, с которой сидел я и про себя называл Нестан-Дареджан. Выбрали лужайку, скрытую кустами жасмина. Условились: лежачего не бить, медных пятаков и свинцовых рукояток в бою не применять. И все-таки бой был тяжелым — с кровью, хрипом, слезами. Всю перемену длилась дуэль. Издали донесся звонок. Бойцы вздохнули с облегчением. Но секунданты-старшеклассники после кратких переговоров вынесли: на урок не идти, продолжить выяснение сильнейшего для ясности дальнейших отношений. Мы снова замахали кулаками. Когда уже ноги не держали гладиаторских тел и положение в общем-то было у обоих лежачее, секунданты великодушно признали: «Никто не победил. Продолжить завтра. На большой перемене».

— Оба победили,— заикаясь, всхлипнул скальд, утирая локтем сопатку, в то время как я пытался открыть пальцами затекший глаз. Не считая обоюдных ссадин, синяков и царапин, я разорвал на противнике рубашку. Это огорчило рыжего воина — небогато жили они с матерью на пенсию погибшего отца, дальневосточного комиссара, оставившего семье славу, бинокль, часы да именную саблю с роскошным темляком. Я отдал ему свою рубашку, наматывая вариант разговора с матерью — куда я ее дел. Рыжий отдал мне желтым, как солнце, футбольным мячом, что было поярче рубашки. Уже в битве мы почувствовали зависть и любовь друг к другу. Сын пекаря, я частенько подкармливал Ноэля булками и тортами, сам предпочитая романтические черные сухари. И ей-богу не оставался в накладе. Обычно, когда я иду с кем-то, во мне мертв пульс поэзии — он бьется лишь в одиночестве. Но присутствие Ноэля заставляло биться пульс с удвоенной силой. Вот мы просто идем с ним в школу. Вокруг ничего примечательного — хаты, сады, загоны на путях, речушка в яру, теленок на бечевке. Молчим. Перед этим толковали, как летом наймемся, по примеру Тома Сойера, в маляры, чтобы па паях купить мотоцикл. И однако же меня охватывает

пронзительно новое чувство, будто я иду за тридевять земель, до того поэтических, что дыхание мое действительно учащается. Глаза усилены необыкновенной оптикой — зримо вижу каналы Марса, слышу пенье Аэлиты. Магнетизм друга рождал новые строчки, тайно записываемые в очередной альбом. Ноэль научил нас играм военным и фантастическим. До него мы играли в казака-разбойника. Он смело взял на вооружение тематику Гайдара и не скромничал, беря себе роль Чапаева или Фрунзе. Он научил нас мечтать, а мечту осуществлять тут же — жизнь коротка. Первым принес я в школу пилотку-испанку — и в тот же день мы побывали на баррикадах революционного Мадрида, невзирая на победу мятежного генерала Франко. Запрудив речонку, он отважно потопил у берегов Индии отборный британский флот, как ни бились адмиралы его величества, и повел нас, рассказав о Маугли, в джунгли, откуда неся рык тигров. С той же страстью, с какой он забивал пенальти, размахивал деревянным клинком и строил воздушные линкоры. Ноэль однажды люто исписал тетрадь стихами, посвященными соседке по парте, надменной, длинноногой недотроге, которой уже писали записочки юные курсанты аэроклуба, старшеклассники. Тетрадь вызвала переполох в учительской — недотрога отнесла — стихи о любви в пятом классе! А отец недотроги председатель горсовета! Но рыжий поэт смело пустил по рукам копию, ожидая признания. Я был потрясен, удивлен, уничтожен. Пришло возмездие за медлительность. Ведь я держал ремесло свое в тайне, и кто бы теперь поверил, что первым сочинительствовать начал я, что давно я отбросил шпагу и плащ мушкетера и вырезал себе суковатый жезл провидца и мудреца, наставника и пророка! Открылось и другое: несмотря на Нестан-Дареджан, я тоже мечтал о глазах недотроги, но гасил эти мечтания, интеллигентски опасаясь чина ее отца. А рыжий сломал препоны. И не сделал из этого тайны. Он не мог жить, не поделившись чем-то с другими. Поэтому он, а не я, стал мэтром и кумиром. Зараза охватила всех. Даже девчонки забросили

учебники, выдумали себе любовь — от поэзии она отделялась, писали на уроках стихи и шушукались на переменах. Мы, мальчишки, солидно сходились в дымной от табака уборной и выносили на суд свои творения. Судей брали удобных — из младших классов. Судью праведного тут же били, поскольку он критиковал и стихи и даму сердца. Неправедных презирали за лесть. Все с уважением ощупывали мои альбомы. Иные за такое роскошное оформление поэзии признавали меня первым. Признание — что бензин машине. И на семнадцати страницах я накатав «научно-фантастический роман в стихах», используя марсианские игры Ноэля. Лавровый венок на рыжей голове увял мгновенно, и я вернулся к излюбленному положению: если и есть тут поэты, так это я. Два дня скальд хмурился, изловчился и нанес удар совершенно с неожиданной стороны: сочинил «Симфонию ля минор», которую называл и «Седьмой симфонией». На стареньком, расхлябанном пианино исполнил автор свою музыку, а мы стояли вокруг, как рабы у трона фараона. Он один среди нас чуть ли не с трех лет занимался в «музыкалке» по классу фортепиано. Делать было нечего. Оружие предложено. Мы отправились гурьбой к Хорьку скупать нотные тетради, выяснили, что такое скрипичный ключ соль и начали потихоньку сочинять недостающие в мировом музыкальном наследии «романсы», «ноктюрны», «прелюдии» и «концерты». Необычайно возрос авторитет учителя пения, старого спившегося скрипача, учившего нас революционным песням — «Вихри враждебные веют над нами!» Сперва я сделал жалкую попытку ответить на чудовищный выпад друга контрударом — выставил с десятков своих картин. Выставка прошла незамеченной.

Пришлось писать музыку. На суд скрипачу принес я пару «сонат» и «ораторию» на собственные слова. Обдавая меня винным перегаром, учитель признал мелодию одной «сонаты» и прочил мне великое музыкальное будущее. Преподаватель же русского языка, сам грешивший по части стихосложения до седых волос, записал в литературные гении

скальда. А до этого Никанор Михайлович обожал меня за мою начитанность.

Так мы переживали свою славу.

Начались ночи у пионерских костров, сложенных пятиконечно, сражения «зеленых» и «синих», разведки, походы по азимуту. С Ноэлем мы выступали в разных отрядах — на двоих не хватало места, подвига. Мы ориентировались на местности, чертили карты, стреляли в тире, собирали камни, растения и жуков для школьных кабинетов — тут я еще прославился как змеелов. Но опять ошеломил успех друга: его отряд раскопал древнее захоронение, открылись двенадцать скелетов. Я проглотил пилюлю и попросил себе один череп — он долго лежал в сарае, пока богомольная наша хозяйка тайком не вышвырнула его вон.

Подошла первая разлука. Ноэль уезжал с матерью куда-то на Север — она выходила замуж за друга погибшего мужа. Я подарил Ноэлю свой карачаевский нож, он мне бинокль своего отца. Мы крепились, подбадривали друг друга, незаметно подставляли глаза сухому ветру и говорили о самых славных подвигах нашей блистательной жизни. Под конец он сказал: «Все же твой роман был выше — до тебя не писали фантастику ямбом!»

Я хотел было спорить и превозносить стихотворство друга, не говоря уже о музыке и других апостольских деяниях, но сообразил, что лучший подарок ему — принять его мнимое поражение, ему нечего больше подарить мне, он опять опередил меня. Несомненно, Д'Артаньяном был он — теперь я дарю ему это признание. Я должен сказать и другое. Он не ответил ни на одно мое письмо. В нашей дружбе не было демократизма — я тиранически пользовался его пантагрюэльской добротой и, как нищий на паперть, лез со своими дурными замашками руководить, наставлять, поучать. Когда в институтские годы я прочитал о трагической дружбе безжалостного Гогена и кроткого, великодушного Ван-Гога, я моментально узнал в последнем моего друга и как в зеркало взглянул на портрет жестокого таитянского гения.

Вот и станция, вот и вагон. Я стоял

на перроне, мать Ноэля страстно обцеловывал какой-то местный дядя с усиками и в шикарном макинтоше, а скальд азартно трогал в купе заманчиво пугающую ручку стоп-крана. Поезд поплыл. И тут я увидел второе поражение друга — рыцарь заплакал, не отворачиваясь, хмуро, побойцовски. Да, не пустым приходил он на пир дружбы! Я бежал рядом с поездом и тоже не мог похвастать миной победителя. В этой игре, называемой расставанием, мы оба оказались на лопатках. Было нам по тринадцать лет. В это время мое классическое образование оборвали залпы войны.

Среди любимых игр детства было собирание разноцветных камешков в горных ручьях — кварц, гнейс, хрусталь, шпат, гранит... Как-то вытащил я из воды прозрачный зеленоватый камень, пронумеровал его и положил на вату в конфетную коробку рядом с другими. Рассматривая его, обнаружил, что внутри камня идет целое действие — похоже, жгут еретика, яростные лица толпы, тень креста. С другой стороны камня виделось стадо в горах. Поворачиваешь камень дальше, виден Город Машин. Число картин бесконечно. Так причудливо изваяла природа этот камень. А также наши глаза, видящие в облаке оленя, а из норы суслика ожидающие стоглавую гидру. Чем дальше рассматриваешь картины камня, тем душа становится добрее, чище. Горько плакал я, обнаружив однажды гибель коллекции — хозяйский ребенок варварски разбросал камни по скотиньему базу, в навозной жиже. Много я собрал, но камень тот исчез. С годами боль заросла, но временами я отправлялся на подвиг — искать утраченный камень, ведь камни живут миллиарды лет. В будущем часами простаивал я в минералогическом музее, отыскивая, сличая, вспоминая. Ходил на экскурсии в Алмазный фонд страны. Одно время спознался с тайными перекупщиками камней. Изучал древние лапидарии — книги о камнях, а также карты о затонувших и зарытых сокровищах, ибо камень тот несомненно драгоценный. В старинных трактатах о лечебных и философских свойствах камней неизменно

говорилось о двенадцати драгоценных камнях планеты, расположенных по двенадцати знакам Зодиака. Алмаз, например, символ твердости и бесстрашия, числится под знаком Весы — Солнце проходит его в месяце октябрь. Стало, это мой камень, я родился в середине октября. Алмаз помогает при родах — а я постоянно занят рождением новых словосочетаний. Также этот камень обнаруживает яды — поэтому у меня такой тонкий нюх на всякую критическую отраву в статьях и книгах моих доброжелателей. Изумруд мне близок тоже — просветляет ум, открывает грядущее. По мнению величайшего из ювелиров, Франсуа Рабле, изумруд способствует хорошему пищеварению, что не мало. Хорошо родиться и под рубином. Как талисман рубин отводит чары, беды, стрелы. Однако многие поэты, родившиеся в месяце рубина, рано погибли от любовных чар потаскух, издательских бед и стрел наемных убийц. Возможно, камень моего детства — тринадцатый, и когда он отыщется, ему найдется и новое созвездие, учитывая мощь современных телескопов. И вот вся моя жизнь — поиски, путь, жажда.

Нож мясника

Я набивал сумку велосипеда зелеными яблоками, когда молниеносно разнеслась страшная весть. Боясь неправды, еле сдерживая радость, кинулся я расспрашивать встречаемых и услышал железный бас московского диктора: война... Лихо мчался я по степным дорожкам на велосипеде. Началось, наконец, Необыкновенное. Необычайное постучалось и в наш городок, к которому примыкала станица. Долой серую скуку поведения, алгебры Киселева, грамматики Бархударова! Хлебный паек и очередь с вечера, воздушные тревоги с воем сирены по радио, дежурства на крыше школы в противогазе с винтовкой, свежие траншеи в парке радовали неизведанностью. Потом радость померкла. Ушли на фронт отец и брат. В городок потянулись составы с ранеными. Сперва их встречали подарками, музыкой, цветами. Потом привыкли и не

обращали внимания. Санатории стали госпиталями. Запахло гнойными бинтами, вдоль железнодорожного полотна страшно белели, как человечесьи кости, брошенные гипсовые повязки, по тротуарам стучали костыли и протезы. По ночам жутко голосили женщины, уже получившие извещения. Снова работало Братское кладбище, закрытое после гражданской войны.

До следующей весны я ходил в седьмой класс. Изредка получали мы письма от отца и брата, каждое знали наизусть. В темные ночи я прокрадывался к городским витринам и наклеивал наспех сделанные стихи с призывами бить немца до седьмого колена. В ландышевых балках зарывал клятвы о мести врагу. А в балки ходил не за ландышами — за дровами и сеном.

Весной сорок второго старшекласников мобилизовали на труд-фронт. Я не был старшекласником, но, боясь потерять приключение, увязался за ними всеми правдами и неправдами. Привезли нас в моздокский овцесовхоз номер семь. Дали мне должность водовоза. По знойной полупустыне, на паре тягучемедленных быков развозил я воду в бочке. Жили в балагане. Копнили сено. С нами жили и работали эвакуированные из Крыма и Ленинграда. По вечерам они устраивали концерты. Помню двух парней. Они до колик смешили нас шутками и песенками одесского толка. Все им было трын-трава. А потом ночью я услышал, как один из них плакал за копной. К числу художественных увлечений я относил убийство фаланг и змей, дружбу с отарными собаками, похожими на белых медведей, и долгие беседы с чабанами. Мы варили кулеш из магарового пшена, пили калмыцкий плиточный чай, попадала нам и баранина. Сочиняли куплетцы вроде этого: «Из Предгорья на Моздок — Я уж больше не ездок». Как-то привезли нам парикмахера, одессита Самуила Пецковича — странно, что фамилия этого незначительного для моей жизни человека врезалась на всю жизнь, а многое существенное давно не помнится. Он стриг мои космы хиппи поневоле и плевался — зубья ручной машинки краснели и двигались все

медленнее от раздавленных вшей.

В начале августа немцы прорвали ворота Северного Кавказа. Нас распустили. Где пешком, где на поезде или телеге мы возвращались домой, идя навстречу фронту. Наиболее сильные старшекласники прибились к местным военкоматам. Дороги стали опасны — вышли из тюрем и лагерей уголовники, да и немцы уже рядом. Мы спешили, как марафонцы. У некоторых девушек лопнула кожа на ступнях ног. Кормились милостью человеческой, ночевали в придорожных лесках. На седьмой день пути с высоты утренних гор увидели свой городок в мирной дымке. На крутой дороге, старинной, таинственной, валялись вещи беженцев. Так война познакомила меня с моим будущим орудием производства — на обочине я подобрал зеленую пишущую машинку. Через полгода стансовет реквизировал ее у меня в пользу Советской власти, но знакомство уже состоялось. Иные вещи удивительно живучи. Через двадцать лет я угадал эту машинку в редакции одной степной газеты.

После полудня мы спустились к окраине городка. Первым нас встретил старый грушевый сад, отягощенный плодами, без сторожа, а мы за лето не видели и гнилого яблока. Набили пазухи и животы. Как-то неожиданно свечерело. Я слышал какие-то крики, но близ родимых стен не обратил на них внимания. В сумерках заметил, что сижу под деревом один. В группе я нелегально считался старшим, потому что хорошо ориентировался на местности. Давал команды на привал, обходил стороной аулы, помня суры Корана о неверных собаках, а когда встретили хмурых горцев, уверенно заговорил на их языке, на заре расталкивал спящих, выбирая маршрут, шел всегда впереди. Шел не от гордости или заносчивости, а от хитрости — уйдя далеко вперед, я получал преимущество: мог отдохнуть, пока последние подтягивались, и им отдыха не было — я снова уходил вперед. Теперь, в саду, мои полномочия кончились, дом рядом, мы не потеряли ни одного человека. И я впервые отстал. И почувствовал свинцовую

усталость. Проснулся на заре и с лучами солнца, с дорожным посохом в руках, с трофеем иностранного образца за спиной распахнул двери своего дома. Власти не было никакой — наши отступали, немцы обошли стороной. Редчайший антракт, анархия. Несколько дней шла грабильовка. Я успел поймать пяток беспризорных овец и чудесного вороного коня с фирменным тавром на левой ноге — вернее, мне отдали его проезжающие красноармейцы, конь прихрамывал. Смастерив седло из ватного одеяла, я рысью отправился на мельницу, где тащили муку, зерно, отруби. Набив мешок овсом — сперва забота о коне, — я выбирался из толпы. Тут раздались выстрелы. Толпа с воем выплеснула меня на двор — прямо под дуло немецкого «Вальтера». Хозяин пистолета, высокий офицер строго пристыдил меня:

— Некоршо, мальшик, крадить. Ты есть колодный?

— Ага, — уменьшался я под дулом.

— Великий немецкий армий всем накормит хлеб! Сыпай! — показал на мешок.

Я высыпал зерно. Во двор въезжали немецкие фургоны, запряженные слоноподобными баварскими лошадьми с мохнатыми ногами. Фуражиры грузили русский хлеб, противореча словам офицера. Я от греха потихоньку отвязал своего вороного и поехал домой. Мешок они у меня забрали тоже. Теперь я видел супостата — пора стать, террористом, диверсантом. У матери сидел дебелый старик, колхозный молоковоз. Когда-то он привез меня с хутора, куда я убежал по столбам, пытая вселенную — что там дальше? Не все получается по схеме: он никогда не был кулаком, а вот уже в чине «урядника квартала». А белогвардейский офицер Спиридон Иванович, наш сосед, вернувшийся из длительного заключения, вскоре стал командиром партизанской сотни. Конечно, и это не схема.

«На землю будешь писаться?» — допытывался «урядник» у матери, — «Кто ее будет обрабатывать?» — «Бери, Мария, земля теперь навечно наша, собственная. Хлопчик твой комсомолец?» — «Нет, года не вышли». — «Ты не боись, Мария, я сам

спородил сына коммуниста, да вот господь не дает повстречать его на узкой дорожке!» Тут он увидел вороного. А какой он «урядник» без верхового коня! Став безлошадным, я попал в работники, в батраки. Было странно слышать это вернувшееся из прошлого слово. Во мне была даже какая-то гордость — батрак! То есть пролетарий и, значит, большевик — хоть так не поддамся врагу! Недалеко от нас — тоже не схема — жил старый красный партизан. Он пользовался в станице атаманским садом, почетом, в дни революционных праздников тучно стоял на трибуне с руководителями, но почти все мирные годы провел в саду и на пасеке. То ли по старости, то ли, как Тарас Бульба, не желая и трубку оставить проклятым ляхам, он не отступил, и теперь в компании с одним оборотистым казаком Арсентьич затеял варить свечи. Возможно, промышленником он стал для отвода глаз, хотя тяга к собственному была еще велика. Меня они взяли в работники — харчи хозяйские, плата натурой, авансом дали старые галифе с красным кантом. Развернуться мы не успели. В обед пришла полиция, русская, казачья. С нею новый станичный атаман, племянник Арсентьича. В революцию они оказались в разных станах. Атаман, тогда всего лишь хорунжий, отступил в Болгарию, и вот возвратился с немецкой армией поквитаться, в том числе и с дядей, немало перестрелявшим белых дружков и родственников племянника. Старика увели. С его женой мы сожгли кипу разных документов. Через неделю ей разрешили забрать труп мужа — в известковой яме. Фирма по производству свечей распалась. Я остался не у дел. В госпиталях была часть наших раненых — не успели эвакуировать, и теперь их лечили немцы, как писали в русской газетенке. Кормили их хуже некуда, но немцы милостиво разрешили жителям носить раненым снесь. Может, это был трюк, и жители боялись — ведь это сочувствие советским солдатам, пленным. Боялись не все. Мой трудовой стаж продолжался. Артель из нескольких женщин, куда вошла и моя мама, готовила пищу, а я относил ее в

госпиталь. Женщины боялись близко подходить к немцам, хотя они вроде никого не трогали, лютовали лишь полицаи. Я же калач тертый — под немецким пистолетом стоял — мне не велено страшиться супостата. Раненые ждали меня с утра. Часовые попадались разные. Один дотошно ковырял клинковым штыком пироги с капустой и толченой картошкой — нет ли оружия, записок. Другой молча пропускал меня к голодной толпе, в грязных халатах с номерами, на костылях. Третий тоже не проверял, но часами томил у ворот — не меня, раненых. Я даже пробовал ему объяснить, что пироги, они вкуснее горячими. Не понимал. Томил, чуть улыбаясь. Следил, как раненые проглатывали слюну. Однажды он сам отломил добрый кус кулебяки, и это была худшая минута: враг насыщался трудом матери. Хлеб женщин поднял на ноги многих наших солдат. Некоторые приходили прощаться и снабдиться харчем на дорогу — их вроде отпускали домой, на Украину, в Прибалтику. Другие по слухам, переходили служить к немцам — было и такое, зато немало поздоровевших солдат однажды бежали из госпиталя в горы. Уже одного молоденького часового я называл без церемонии Гансом, когда опять лишился полезных занятий. Как-то этот Ганс грубо указал мне назад с моими кастрюлями и узелками — раненых из госпиталя увезли. Куда? Никто не знает, и лечатся теперь тут офицеры рейха, и подходить сюда небезопасно.

Стояла середина октября, тепло, светло. Жителей нанимали рыть картошку, седьмой пуд. Деятельность матери сильно истощила наши припасы. Я поехал с партией баб в горное урочище. Урожай был нехвата велик. С зари до зари таскал я тяжелые корзины к буртам. За буртованием следил немецкий интендант. И все-таки картошка погнила, кто-то затоптал отдушины. Ночевали рабочие в свинарнике. Одна пожилая сладкоглазая баба подкармливала меня оладьями и норовила положить спать рядом, в свином закутке, у нее одеяло и подушка, а у меня только отцовский пиджак. Но я допоздна засиживался на высоком кургане,

пересчитывал звезды и спал по-казацки — в душистой от навоза и сена конюшне, где жаркие кони звучно хрупали зерном и бураками. В расчетный день нам честно отвесили наши пуды, но обещанных подвод не дали. Пока мы искали транспорт, заработок мой увезли — то ли бабы, то ли немецкие вездеходы. Мать же рыдала от счастья, что я вернулся живой. Напекла горьковатых, желтых кукурузных пышек, приделась. Пришли ее подружки, тоже принаряженные. Поставили на стол фотокарточки мужей-фронтовиков, разлили шкалик мутного самогона. День жаркий, солнечно-синий. Седьмое ноября. Выпив, бабы тихо спели: «Ой при лужку, при луне, при счастливой доле, при знакомом табуне конь гулял по воле...» А я глаз не могу оторвать от стены — в календаре Красное Число! Вот тебе и «новый порядок»! Я сорвал листок и блистательно, бешено отомстил и за картошку, и за вороного — прислунил его на воротах «урядника квартала». Вот была суматоха, когда доглядели! До глубокой ночи орали домочадцы «урядника» и бегали по соседям, слезно умоляя подтвердить их «невинность». А уже сладость идеологических диверсий пленила меня. Во-первых, давно хотелось постучать на машинке. Во-вторых, теперь ясно, для чего стучать. В подвале, при свечке, я настукивал на машинке стихи против немцев и полицаев. По недостатку опыта и разумения я продолжил новаторство рифмы: Гитлер — хитрый, немцы — денутся. Никогда впоследствии не радовало меня так мое творчество. Стихи-то были никудышными по форме и, значит, успеха иметь не могли, но каким могучим трибуном казался я: себе, наклеивая в темноте свои рифмованные листовки на столбах и заборах! Кстати, в темноте особо опасно — хождение лишь до сумерек. Триумфом моих жанров стали послания, в стихах же, немецкому коменданту — я отправлял их по почте. Как древние пророки на все лады, расписывали конец света, так я живописал скорейший приход Красной Армии и его, коменданта, дальнейшую судьбу, весьма незавидную. Какая бессмертная богиня хранила меня?

Ведь свои машинописные прокламации я расклеивал в основном в квартале, где жил, а только два месяца назад вошел в дом на виду у всех с машинкой! Они были редкостью, машинки, как ныне ЭВМ, и уловить автора не составляло трудности. Что я тогда не стал героем, посмертно, чистейшая случайность, почти нелепость. О творчестве того периода я никогда не говорил, ибо долгие годы не упоминал, что был в оккупации, это считалось пятном и для четырнадцатилетнего подростка. Лента в машинке была, копирки не было, посему тех творений не осталось.

На грани нового, сорок третьего года я увидел зарево войны. Немцы отступали, как и входили, без большого боя, но теперь они взрывали все маломальски стратегическое — мосты, рельсы, опоры электропередач, госпитали. В зимний, слепяще солнечный день — здесь триста солнечных дней в году — то ли румын, то ли итальянец, у немцев другая форма, вошел в наш двор. Мы с минуты на минуту ожидали возвращения своих. Немцы отступали уже целую неделю, дни и ночи не смолкали взрывы, полыхали пожары. Отступающие войска уже не отличались летней вежливостью и нейтральностью. Теперь они убивали, насиловали, грабили. И мать накинула полуметровый крюк на кольцо двери. Солдат рвал жестоко и нежно, страстно умолял: «Мама, мама». Я держал наготове топор. Солдат одолевал — росла щель в притолоке, хотя мама отличалась неженской силой, привыкшая с детства к суровым работам. Тут во двор вбежали еще двое и закричали: «Шевалье! Шевалье!» Слово это попадалось мне в книгах Элеоноры Владиславовны и, по моему, означало рыцарь, кавалер, благородный. Но я не знал, что оно (cheval — лошадь) способно означать и конник, всадник, казак. Почему они крикнули французское слово — может, это были французы? Всех троих сдуло как ветром. А через минуту, с горы, из-за реки выскочили на алых конях — или это цвет башлыков? — всадники, рыцари, казаки — наши! русские! советские! В толпе, окружившей конников, рыдала мать. От

сильного возбуждения всхлипывал и я, страясь попасться на глаза любому кавалеру, благородному шевалье с автоматом на груди и гранатами на поясе. Через час двенадцать рыцарей сушили портянки над нашей печкой, выложив матери на стол фронтовые пайки — давненько не пробовали мы пшеничных сухарей. Она зарубила на лапшу последнюю курицу и радостно спрашивала каждого, не встречали ли они в пути ее сына, артиллериста, или хотя бы мужа, рядового матушки-пехоты. Нет, не встречали. А я пировал на груди оружия, ремней, бурок, таскал снопы кукурузной лабузы коням, и мои подвиги при немцах казались всего лишь детскими играми, проделками от избытка воображения, ведь автомат «пишет» поконкретнее пишущей машинки. Мать заботливо собирала конский навоз — станичный цемент для ремонта хаты. К вечеру конники умчались. Полковник, не отличавшийся формой от солдат, оставил у нас на хранение охотничье ружье «зауэр три кольца». И адрес я ему записал правильно, но ружье и посейчас висит у меня на стене, а хозяин все медлит...

На другой день мать пошла на работу в госпиталь — кучи горелого кирпича, скареженное железо, черные глазницы пустых окон, такая же картина и в школе, куда я пошел, прихватив вместо учебников лом и кирку. Начался восстановительный период. Тогда и забрали у меня машинку — соседи наконец донесли..

Отец матери, военный фельдшер, погиб в Порт-Артуре, когда ей было пять лет. Два брата остались на полях Галиции в шестнадцатом году. Третьего скопил тиф в девятнадцатом. Четвертый сошел с ума. Пятый, именем которого назван я, застрелился, когда казаки перебили его отряд. Как чисто косит эта косилка!

Теперь в наш саманный домик, купленный отцом перед войной, пришли еще две похоронные, на брата и отца, выписанные полковыми писарями прошлым летом, полгода назад. В те дни соседи тщательно следили за матерью и не дали ей лечь под поезд, отбирали веревку

на чердаке. Она билась и кричала на холодном полу. Я судорожно трясся в рыданиях рядом. Наконец она вяло встала, и мы стали собираться в дорогу — искать могилы. Когда узлы связали, мать заголосила с новой силой. Потом умылась несколько раз подряд, нажарила на примусе мне картошки и пошла на работу. Я пошел в восьмой класс. Работая по две смены, она возвращалась поздно, смотрела на меня, спящего, определяла, чем я питался, и уходила голосить, чтоб не слышали, в подвал. Лицо ее стало похожим на градобойное яблоко, в пятнах и ямочках. А две весны назад отец не шутя ревновал ее на вечеринках.

Больше я никогда не увижу их, отца и брата. Они были похожи друг на друга, а я маменькин сынок. Оба проворные, избегающие книг, любящие поля, животных, крестьянские хлопоты. Отец с трудом мог расписаться «по-печатному», брату мучительно давался русский язык, он даже оставался на второй год. Они мечтали купить бычка и пасти его на воле. Часто с базара приносили на завод гусят или кроликов и подолгу возились с ними. Мать кохала меня. Я жил в мире книг, путешествий, таинственных камней, игр. Брат-таки поколачивал меня за склонность к одиночеству и аристократизму, хотя я и был членом уличной общины босяков и сорванцов-казачат, чьи забавы уже отдавали преступностью. В школе меня дразнили французом — однажды я вырядился в мушкетерские чулки. На улице называли Наполеоном — без смысла. Брат окрестил Нюней, считая меня ни к чему не пригодным лентяем и лежебокой. Народные прозвища в общем-то метки — выше я говорил о Хорьке, и брата, не без смысла, называли на улице с детства Бычок. О бычке он мечтал, как любил вообще животных, но и сам ходил на рабочую скотину — трудяга, пахарь, кормилец. В нем не было крестьянской ограниченности тех лет — не менее быков и коней он любил машины, трактор, мотоцикл, чинил в доме часы, швейную машину, замки.

В сумерках приходил с работы отец, с виду не крепкий, но замечательной

силы пекарь. Мать подает ему воду, накрывает на стол. Два сына у них — две дочери умерли в голодовку в начале коллективизации. Старший лет в двенадцать, насмотревшись на первых в станице трактористов, самовольно завел трактор, дал газ, провалил дряхлый мост, самого в речке выловили. Младший не расстается с книжками и картинками — «Должно, доктором будет!» — ученых представляли лишь в облике врача. При керосиновой лампе в семь линий мы уплетаем вкусный ужин — набегались за день по ярам и садам. Отец перемесивший ногами и руками горы теста, клюет носом, и я слышу, как руки хлебопека и кондитера пахнут пшеничным хлебом, ванилью гвоздикой. Отец никогда не бил нас и не ласкал. Его нисколько не волновал мой школьный дневник. С гордостью рассказывал он о старшем сыне, который в три года мог править лошадьми, а в восемнадцать мог быть толковым хозяином и семьянином. Брат прожил на свете больше — девятнадцать лет. Пока они стучали топорами и молотками, я любил в летние дни валяться на шкуре сайгака под абрикосовым деревом. Ветерок шелестит страницами книги, веки смежает сладкий сон-греза, сквозь прислоненные к глазам ладони алым соком течет солнце, плывут в небе фрегаты-облака... А теперь я стал взрослым, хлеб мой черен и горек, да и мало его, хлеба, приступил голод. Простреленные двумя фронтовыми бумагами — пуля никогда не поражает одного, у матери-прачки надолго отнялись руки. Потом за свой труд она получит две боевые медали, но пока кормильцем семьи оказался я, в четырнадцать лет, оставив школу до лучших времен. Прежде чем стать ассенизатором и водовозом литературным, я стал им в буквальном назначении. Канализации в станице не было. Вдвоем с соседом мы почистили наши выгребные уборные, вручную, таская ведрами на огород неароматную жижу. Почистили и в третьем дворе, уважив просьбу немощной старушки. Далее стали брать плату. Конечно, это была случайная работа, и причислить себя к золотарям я не смею, но сколько-то кормился этим

древнейшим промыслом. Отец, потомственный хлебороб, не захотел работать в колхозе — слово пугало — и всю жизнь тосковал по земле. Я записался в колхоз, главный станичный промысел. Следует напомнить о слитности нашей станицы с курортным городком. Днем я могу быть на покосе, в хлеву, а вечером сидеть в стильном зале с полками редких книг. Мы жили в казачьей хате, но я бывал и в особняках с башнями, куполами, шпилями, в изрядной картинной галерее, в музеях всемирного значения, связанных с именами гениев русской литературы и искусства. Но колхоз был, как большинство колхозов того времени, — бедным, разоренным, наращивающим долг государству. Моя первая профессия в колхозе была благородной, древнейшей, педагогической — пастух. Из книг я помнил: цари Гомера пасли волов «медленноходных, огромнорогатых», Евмей-свинопас назывался богоравным, от пастухов произошло все доброе, как от виноделов злое. Впоследствии дежурными героями моих опусов стали коровы — авторы лучшего земного сока, раз уж в авторы попали и футболисты — автор гола! — и бульдозеристы — автор канавы! — и повара — автор вареников с горохом! Предлагаю: троих на одну бутылку в подворотне именовать в милицейских протоколах соавторами. В опусах я искупал грехи пастушества перед коровами. Ведь я был воспитатель с палкой. Достаточно оплошать какой-нибудь телке, уклониться в сторону потравы, как мой ясневый чекмарь с гулом обрушивался на ее тощие, военного времени ребра, и в прекрасных черносливовых глазах стыла боль беспомощности животного перед человеком; поэтому многие на корриде болеют за быка. Теперь, как и большинство людей, я вижу коров в кино, а молоко пью бездумно, как машина бензин. Но теперь же стала понятна Индия с ее культом коровы. Это животное священное, второго такого нет, оно дает нам могучих быков, масло и потом себя на колбасы и филе. Корову сделаю богиней. В дни пастушества я все дальше уходил от стихов, истории, заодно с физикой и математикой, и

вознаграждением были наглядные астрономия и ботаника — звезды и травы, археология — черепа с пулевыми дырками, зоология — звери и птицы, да и математика — подсчет трудодней. Когда я принес первую крохотную получку, скорее символическую, мы с матерью почему-то разрыдались. Выпал снег, добрый председатель колхоза перевел меня молотобойцем в кузню, потом отпустил учеником в мастерские. В костерезной учили выпиливать гребни, мундштуки, брошки. В гипсовой мастерской я лепил муляжи и детали архитектурных украшений. То ли стремление освободиться, то ли поиски своей тарелки гнали меня на новые работы — нигде я долго не задерживался.

Следующее занятие не из веселых. В пятнадцать лет меня приняли учеником бойца на бойне, или мясокомбинате. Я уже не воспитывал и не охранял коров — я их убивал, резал, или, более деликатно, забивал.

Поедающие котлеты! Любящие рагу и буженину! Наслаждающиеся телятиной в сметанном соусе! Вам эти строки. Не в укор. Не с приправой вегетарианства. Просто: будьте добрее — человеческая жизнь оплачивается недешево, и если она ни в грош не ценится людьми, то не по вине живой природы.

Убойные коровы в станице кончились — всех уложили мы со стариком. Под нож шла казачья краса — кони. Воспользовавшись сокращением штатов, я уволился с бойни, потянуло на другие работы. Уже я пил, курил, употреблял постыдные слова в кругу рабочих. На дорогах возродилась тачка, влекомая людьми, на полях — лопата вместо плуга, в домах — лучина и ручная мельница. Главным стало мясо, хлеб, уголь, пушечный и броневой металл, людские резервы. И ненависть, честь, выправка, дьявольский труд для победы, умение убивать быстрее и больше, чем враг. Зазвучал старинный траурный вальс «На сопках Маньчжурии». Смерть посетила каждый дом — иной не однажды. Дни смерти всегда регресс, а тут не дни, а годы. Шаги назад всегда нежелательны и всегда бесполезны — в мире нет бес-

полезных вещей. В лучшие годы роста человека — с тринадцати до восемнадцати — я не только не читал книг, довольствуясь радиосводками о положении на фронтах, но и забыл читанное раньше, вернее, не забыл, а не вспоминал. Я отстал в развитии на целое поколение — сделанное к тридцати годам должен был сделать в двадцать. Но годы войны не прошли впустую, как часто проходят многие мирные годы. Я не меняю биографию — отойдите, менялы! У меня широкая ладонь. Умею отличить тихую ядовитую гадину от безвредно шипящей. Сложить стог сена — искусство, живая архитектура. Поймать одичавшего быка могут не только в Техасе. Будь она проклята, война, но в годы войны я осознал себя и русским и советским. В зимнем безмолвии одиноко стучал топором, слыша музыку снегов и предчувствуя, что когда-то расскажу об этой красоте. Я как бы проходил всю историю человечества — от борьбы за огонь до борьбы за мировое пространство. Пьяный объездчик топтал меня конем в безлюдных горах за кражу леса. Да, виновен, но в доме ни щепки, а мои предки тоже неплохо владели конем и клинком — после этого воспоминания под конем оказался объездчик. Я видел смерть и рождение луны, впитывал осенний багрянец дубрав на меловых склонах, слушал саги торопливых родников. Как и детство, моя юность начиналась в кавказских лазоревых балках. В балке я и родился, говорила мать, в осенний, в дымчатой позолоте денек, когда на землю падали желтые страницы леса, листья, и красные буквы — желуди, кизил, барбарис. Радостны весенние балки, но их описаний у меня не встретишь, для меня все-таки прав Пушкин — осень более благодатная пора. Без раздумий валил я не только обычные дубки и ясени, но и реликтовые породы, если они давали стойкий, пламенный жар. Двухпудовую вязанку дров тащил без отдыха по семь верст, поэтому попутчиков у меня не находилось. А если я присаживался отдыхать, мог сидеть часами на мшистом обломке сорвавшейся сверху скалы, смутно вспоминая нечто навек утерянное — и это тоже не сближало меня

с станичными лесорубами. Придремал на полянке. Проснулся от щекотки на щеке — хвост гадюки. Вскочил с древней дрожью омерзения. Кольцо змеиной свадьбы — десятки желтокожих гадин свивались в любовном томлении. Не десятки — сотни, но действительность не всегда вписывается в литературу, приходится минусовать, чтобы читатель поверил. Я видел человека, который за час боя своим танком подбил сорок вражеских танков, но писать об этом я не рискнул — неправдоподобно. Мигом развел я костер — и змеиное сало зашипело на огне. С гордостью вычитал потом, что в одной стране убийство такого множества змей приравнивается к добыче двух пантер. А еще позже узнал, что совершил в тот день преступление против природы и жизни. Недавно охотился в этих местах — за день встретил двух певчих дроздов и десяток бабочек. Банальные мысли, однако банальное обычно оказывается главным.

Плечами на звездопад

На семнадцатом году, когда выяснилось, что моя большая мама ниже меня ростом, а война шла в Восточной Пруссии, меня призвали на всеобуч. Когда-то мулла избрал меня слушателем, Элеонора Владиславовна — читателем, Ноэль Казанцев — другом: лицо у меня, что ли, такое? Я стал замечать, что в группе людей меня выделяли. «Ты! Три шага вперед!» Так я стал командиром, не нюхая пороха, прошел программу стрелка-бойца и двухнедельные курсы комсостава. В семнадцать лет Гайдару довелось командовать полком. Я лишь командовал ротой — девушек, радисток и телефонисток — опять вступил на стезю педагога. Я преподавал им строевую, огневую и политическую подготовку, а спецпредметы вели другие. Учил затягивать юбку ремнем, тянуть носок ноги в строю, приемам штыкового боя, петь песни на марше. Юбки были сатиновые или довоенного шелка. Пояса матерчатые. Носок они тянули, как в бальных танцах. А запевал обычно командир роты сам. «Пропеллер, громче песню пой, Неся распластанные крылья. За вечный мир, в последний бой Летит стальная эскадрилья».

В пятидесятых годах одна моя воспитанница стала известной певицей. Она-то и пакостничала в строю, запевая несурязицу для знамени и устава вроде этой: «Ветеро-чек парус клонит. От разлуки сердце ноет. Я думала он смеется, А он вправду расстается». «Отставить!» — бешено округлял я глаза, — от майора перенял — и юношески дребезжащим козлетоном, под смех солдат из госпиталей, выправлял положение: «Артиллеристы! Есть такой приказ! Артиллеристы! Зовут Отчизна нас! Из сотен тысяч батарей — За слезы наших матерей — За нашу Родину — Огонь! — Огонь!»

Я просил горвоенкома дать мне взвод, но мужской, а этот «женский батальон смерти» передать кадровому лейтенанту Козлову. Горвоенком острил: «Как же, пусти Козла в огород! Мы их должны сдать в армию в полной сохранности, командир, смотри у меня, ответишь за каждую единицу!» Солдатский юмор был свойствен и мне: «Я же не принимал их по описи и под пломбами!»

На стрельбищах приходилось лежать с каждым бойцом в обнимку, учить держать приклад плотно у плеча и не зажмуриваться при спуске курка. Я разводил им ноги вразброс, по инструкции, придавливал пятки к земле. У меня золотилась верхняя губа. Ходил я в офицерской, купленной на базаре фуражке, в солдатской шинели и узких английских ботинках на прессованном, негнущемся картоне, с замечательными, почти лошадиными подковами. Фуражка, правда, не моего, основного рода войск — околыш танковый. Имел и планшет командирский — майор подарил. Оружие — только в учебные часы. Возвращался домой поздно, по глухим переулкам, залитым лунным светом. Шел командир роты и патриотически думал: если бы всю эту лунность перелить на медь — сколько бы пушек вышло! Шел и отрабатывал, как китаец, строевые приемы, в частности приветствие старшего начальника или знамени. Вкусив сладость командирства, я понимал, что и вышестоящим приятно мое рвение. Война уходила все дальше, а для меня фактически начиналась — глубже, в тыл, отступал я

от мысли, слова, краски, считал дураком того, кто много думает, и думает не по уставу, не так, как все. И не горевал. Курил махру, ел глазами начальников, звонко рапортовал, добивался мужской выправки у девушек и самостоятельно вывел: важнейшее умение человека — пользоваться пулеметами разных систем (из моего урока по огневой подготовке). Я знал: хлеб — он по норме, как и боеприпасы, щепку — неси в печь, протер штаны — поставь латку, шинель лучшая из одежд — она универсальна: и во сне, и в бою, и на параде. А художественная литература, музыка, живопись с успехом заменились изречениями из уставов, боевыми песнями, топографическими картами. В небесных светилах, столь воспетых поэтами, одна поэзия — ориентиров. Звезды подлинные есть — на погонах, надо только плечи не прятать ни в строю, ни в бою. Славный автомат придумал товарищ Калашников! Пользуясь им, можно закрыть свою молодецкую грудь сверкающей кольчугой орденов и медалей. Да какой же дурак выдумал одиночное хождение по земле, не строем, вразнобой, так, без толку! И я радовался, что нашел свой путь, познал смысл бытия, и чаще других командиров получал благодарности — устные перед строем и с занесением в личное дело. Ну, хорошо, напишешь ты поэму, прочитают ее, но может она сравниться с твоим личным делом, в котором написано: требователен, исполнитель, морально и политически устойчив (из моей характеристики)? То-то и оно — не может! Случались и взыскания — на то и устав дисциплинарный. Так, мою девичью роту нарядили в караул у призывного пункта — главная ценность — буфет. Я поставил часовых, дал указания на все случаи и стоял на танцплощадке в парке, небрежно выпустив рукоять пистолета из кобуры — моя единственная ковбойская вольность, не совпадающая с уставом. Надо сказать, за моей ротой всегда волочился хвост из раненых и отдыхающих солдат и офицеров — они, кстати, многое подсказывали мне на занятиях. Едва я давал последнюю команду: «Р-разойдись!», как братва шумно расхватывала моих бой-

цов, уводя их в кино, на танцы или в темные аллеи помечтать. Я круто поворачивался через левое плечо и уходил от этих глупостей. А когда помкомвзвода Лариса Нагульная прислала мне по почте объяснение в любви, я пристыдил ее и дал три наряда вне очереди, чтобы подумала, до какой черты докатилась. Еще одна, рядовая третьего взвода, настойчиво охаживала меня. Я вынужден был ее провожать — домой нам по пути, но беседы вел командирские, нравоучительные, использовал ночную прогулку для повторения и закрепления, скажем, взаимодействия частей механизма ПТР в момент выстрела. Проверяя посты, я обнаружил, что часовой Нелли Терпиченко спит, а винтовка ее похищена. Я растолкал красавицу, мечтающую пойти в актрисы. Нелли заплакала. «Москва слезам не верит!» — жестко сказал начальник караула и задумался. Уставы он знал назубок. Трибунал может послать меня в штрафную роту — отлично, там-то я и подставлю плечи звездам, а может кинуть в дисциплинарный батальон — военно-трудова тюрма. Не это пугало. Страшил пожизненный позор — у моего часового украли на посту оружие, ай да начальник караула! Учить девушек военному делу все равно, что пахать на коровах: можно, но стыдно запрягать ласковую мать-молочницу в бычье ярмо. Но я не обсуждал приказов свыше — этого делать нельзя — и был неумолим. Нелли на коленях ползала в кустах сирени, ища винтовку, а я обследовал мусор под верандой. Я был близок к тому, чтобы дело покончить до рассвета — пистолет и сердце при мне, а промахов я не признавал. С этой Нелли был и раньше казус. Прыгали через канаву. Она отказалась. Я требую. Ее смазливая подружка объясняет: не может она, товарищ командир, нынче. «Как это не может?» — «Ну, у нее это самое дело». — «Какое еще дело?» — округляю глаза. — «Ну, женское». Дико заливаюсь краской, вдруг вспомнив нечто (тогда я и попросил горвоенкома дать мне мужских солдат). Тут начальник караула услышал счастливый смех и приглушенные поцелуи в кустах. Явилась винтовка. Лихой капитан авиации,

ухаживающий за Нелли, — он таки увез ее, — подшутил над милахой, спрятал винтовку, застав Нелли спящей. Он тоже знал уставы и открылся вовремя, иначе военная фортуна повернулась бы ко мне задом. Хотелось мне сорвать зло, прочитать ему мораль, но капитан вне досягаемости — Герой Советского Союза. Лет на пять старше меня. А я тут толку воду в ступе с этими бабьем! Утром любой ценой уйду добровольцем туда, где кучно летят золотые звезды с не менее кучными осколками и снарядами — кому что суждено. Как он одет, капитан! Шевровые сапоги, брюки диагональные, куртка мягкой кожи на белом меху! И мои донкихотские доспехи. И разве не меня останавливал патруль, требуя подтвердить право ношения фуражки офицера бронетанковых войск? Хватит. Пора уходить. Дальше, выше! С утра. Но с утра я был арестован — дело не осталось в тайне, как не поделиться с подружкой! Горвоенком, напуганный ЧП, отправил меня в комендатуру. Тут же ценя мое воинское рвение, освободил и ограничился небольшим взысканием. Имея пятно, я рапорт об отправке меня на фронт придержал в уме.

Цепная реакция, по-видимому, существует не только в термоядерных процессах. Стоило познакомиться с гарнизонной гауптвахтой — и знакомство повторилось с утроенной силой. Как-то объясняя принцип действия того самого автомата Калашникова, я упустил из виду неписанный военный параграф, что и палка стреляет раз в году. Как случилось, теперь не объяснишь. Автомат в моих руках вдруг дал лихорадочную очередь — в комнате, над головами бойцов — хорошо, что над головами. С визгом рота кинулась наутек. Теперь в этой комнате занимается балетная группа Дворца культуры. Бывая там иногда, инстинктивно смотрю на заднюю стенку, на давно заштукатуренные отметины пуль. К вящему удовольствию роты дали мне десять суток строгой гауптвахты. Отбывал как положено. В подвале, без огня и свиданий, горячая пища через день. Тщетно носила мать передачи — не положено, кричал я ей

из-за решетки над самой землей. Принаравливаясь к темнице, добыл огарок. Ночью в узкий решетчатый просвет ярко светила звезда. Я присмотрелся. Да ведь это Сириус, самая крупная звезда, вспомнил я учебник брата по астрономии. И потекли мысли — есть ли жизнь на других планетах, что изменилось на Марсе со времени моего «научно-фантастического романа в стихах», и что есть человек на этой крохотной пылинке мироздания. Да, отпуск хорошая штука. А многие книги, читанные в детстве, были написаны, я помнил, в тюрьме, как «Город Солнца» Кампанеллы. Стало быть, надо добыть и карандаш. Праздность не только мать пороков. Она родительница и стихов, философских систем, научных открытий. Одним из условий грандиозного творчества эллинов-аристократов было рабство, дающее избранным праздность, помноженную на культуру. На четвертый день часовой, принесший мне котелок похлебки и сухарь, застал меня за работой — я писал на стене поэму с зловещим заголовком «Гитлер в аду», не стеснял себя в выражениях. Ознакомившись с моим художественным творчеством, военный комендант приказал мне выбелить камеру и несправедливо — нет правды на земле — приписал мне все непристойности, написанные бывшими узниками, небесталанными. Самое едкое и ругательское на стенах почему-то адресовалось Муссолини и Геббельсу. Поэтому пришлось забелить, как и чужие, весьма сильные строчки. Моим замполитом в роте служила Тамара Улыбкина, вернувшаяся с фронта по каким-то причинам. Она ходила в гимнастерке жениха-танкиста, явно не приспособленной для высокой, как столик, груди. На гимнастерке темнели пятна от орденов — потом я использовал это в рассказе. Пока танкист делал успехи в прорывах, танковых атаках к форсированию европейских рек, Тамара переадресовала свои нежные улыбки мне. Я не замечал этой любви, откровенной и примитивной, как ее фамилия. Я упивался властью, формой, порядком, однообразием лиц, юбок, к сожалению, и лица, и юбки в роте были разные, смаковал фразы уставов, не

допускавших подтекстов и разночтений. Совершенно серьезно повторял роте науку старшего начальника:

— Местностью называется часть местности с нанесенными на ней деревьями, оврагами, населенными пунктами, а также огневыми точками.

Как многие юноши того времени, я видел себя у знамени полка, в кабине истребителя, на мостике крейсера с кортиком на боку. Военная жилка во мне была. Когда я бываю на армейских сборах, никто не верит, что я не прослужил в армии лет пятнадцать, а между тем судьбе было угодно не делать из меня военного, хотя я долго добивался этого. Отдыхающий в госпитале генерал-лейтенант обещал взять меня в свое авиационное училище. По пути домой генерал скончался от старых ран и старости. Вызов, натурально, не пришел. Военкомат послал мои документы в военно-морское училище — документы утерялись. Не хотела Афина Паллада отдавать своего любимца в солдаты, а я так рвался!

Осенью, по исполнении семнадцати лет, пришло время идти в действующую армию. С нетерпением ждал я дня мобилизации, как солдаты ждут демобилизации, срывая вперед листки календаря. От дружбы с Верой у меня остался томик Маяковского, редкое, первое посмертное издание, без купюр. Я положил его в вещмешок. Туда же деревянную ложку. Матери скомандовал сушить по возможности сухари. Горвоенком наш сменился. Война не на исходе, но конец виден ясно. Пришел приказ часть призывников направить на восстановление народного хозяйства в порядке мобилизации. Волею алфавита — а может Мойр или Афины — меня зачислили в школу паровозных машинистов. Подобное бесчестье ошеломило меня, командира. Новый горвоенком, чином полковник, а старый был доступным майором, уделил мне две минуты и — но правды нет и выше — в просьбе послать на фронт отказал, молодых, мол, мать честная, надо беречь. Из военкомата я вышел черным ходом. Давно я не писал стихов. Но как-то попалась мне на базаре пачка превосходной

бумаги. Нечто шевельнулось во мне и я, к недоумению товарищей, выменял ее за пайку хлеба, краснея и сбивчиво объясняя, что это не себе, а одному знакомому. Теперь на роскошном снежно-белом листе написал Верховному Главнокомандующему. Просил срочно направить меня на передовую. Письмо напоминало иск, жалобу, тревожное донесение о беспорядках на призывном пункте. Это не было геройством, особым сознанием. Это было естественным: идет война народная — надо воевать. Вряд ли я помнил свои страшные клятвы о мести врагу за отца и брата. Просто я проникся военной психологией: воевать значит жить. Я не хотел оставаться в штатской одежде, когда миллионы сограждан носили военную. Дисциплина повелевала: верховного ответа жди, а приказ выполняй. Я повесил шинель в шкаф до лучших дней, облачился в лесную куртку и серую кепку с длинным козырьком, навалил на плечи «сидор» с харчем и Маяковским и уехал в крупный транспортный узел. Разумеется, в пути я был старшим в группе.

Кран машиниста

Школа началась с практических занятий — кочегаром на паровозе, романтикой тяжеловесных составов, угольной сажой и смазкой. Теорию читал старый машинист-инструктор, прямо сошедший с картинки — так я и представлял машинистов, будучи пассажиром: крупный, седоусый, с хитринкой в глазах, на груди золотые часы-луковица «Павел Буре». И зовут подходяще — Алексей Иванович Кондаков, — мазутное, пролетарское племя, рабочий класс, гордость страны. Мастер, как выражались тогда, еще тот! До революции водил поезда по Николаевской железной дороге, поднимался на окольцованную медью «Овечку» в белых перчатках, зарабатывал до трехсот рублей золотом в месяц, а проживал не более пятидесяти. Деньги клал в банк, в революцию они пропали. А «Овечку» его заковали путиловцы в латы, снабдили сзади блиндированными платформами с

орудиями и пулеметами, посадили на них братишек в тельняшках и бескозырках, и повел Алексей Иванович бронепоезд в грядущее. Он вернул мне бумагу и карандаш — лекции его я записывал с удовольствием. Кондаков насыщал красками жизни пар, железо, огонь. Объясняя, почему котлу вреден холодный воздух и поэтому надо топить вприхлопку, он приводил в пример мороженое вслед за горячим чаем — и нервами зубов мы чувствовали болезненное состояние котла. Говоря об экипаже — колесной части локомотива, попутно рассказывал истории, как в двадцатые годы под котлом, у экипажа, приспособились ездить ворюги, беспризорники, босяки, спекулянты, живо изображая их мимикой и жестами. Нарисовав первый в мире паровоз Стефенсона «Ракета», мимоходом сказал о костюмах английской знати начала девятнадцатого столетия, важно взобравшейся на вагоны-кэбы. И как извозчики устраивали заговоры с целью убийства изобретателей огнедышащих машин, и как аристократы платили сотни тысяч фунтов стерлингов, чтобы железная дорога пошла подальше от их владений. Такой учитель оказывался и воспитателем. Знакомя нас с правилами чистки дымогарных и жаровых труб, незаметно напоминал, что и зубы надо чистить, что было не лишним. Удивительно деликатно, читая о быстро изнашивающихся частях машины, воспитывал в нас правильное отношение к своему телу. И поощрял в нас творческую дерзость: подчеркивал, например, что лучший в мире товарный тормоз изобрел простой русский машинист Матросов, а пассажирский тормоз фабрикант Вестингауз купил у слесаря и дал тормозу свое имя. Некоторые машинисты напоминали хлебоборovedиноличников. Паровоз оставался для них конягой, только железной и таинственной. Они не понимали, отчего перегретый пар имеет такую силу. И ругались на паровоз по-крестьянски. Часто ехали «на соплях» — скрутив проволокой сломанную деталь. Старались схватить на станции выгодный для заработка поезд, их любимая присказка: колесо крутнулось —

копейка в карман. Сойдя с паровоза, они растворялись в толпе, как самые ординарные пассажиры. Алексея Ивановича за версту видно — машинист. Он не терпел грязной роботы; в паровозной будке был как дома; приборы на лобовом листе топки, инжекторы, манометры, водомеры сияли у него библейской медью, «которая дороже золота». Для него нет тайн на паровозе — поэтому нет ни пренебрежения, ни подобострастия к стотонной машине.

Как водится, мы, кочегары, обзавелись железными «баянами», крашеными сундучками. Перед поездкой нас кормили в деповской столовой по особым, «литерным» талонам, клали в «баяны» серый хлеб, топленый жир, сахар. Мы очень гордились, что только нам, паровозникам, выдавали такие редкие тогда продукты — даже ИТР питались хуже. Из поездки мы приносили в «баянах» куски алмазного антрацита, чтобы отапливать общежитие или квартиру. Уголь кормил и на полустанках — паровоз осаждали бабы, меняющие просяные пышки, яйца, молоко на дефицитное топливо. После первой поездки я думал о побеге на фронт — работа оказалась адской.

В редкие минуты отдыха, поэтически звездной ночью в степи, в блистаньи красивых огоньков стрелок и светофоров, я с нежностью вспоминал тихие лесные балки, сенокосы, неторопливых коров — по закону творческой дистанции. Воспален глаз — чистил дымовую коробку, ветер вихрил раскаленную гарь. Болит плечо — садануло громоздким керосиновым фонарем, которые оставались на случай порчи электродинам. На пальце язва — каустиком разъело. Посапывают на запасных путях паровозы, американские паровозы военного времени. Тихенькие, смиренные, добрые. Как коровы. А тронь регулятор — с ревом мчится громада стали, пара, огня. Я уже не засыпал под струями душа в депо. Я удивлялся, как можно не любить коров. Я ненавидел паровозы. Ночь. Снежный буран. Уголь на тендере смерзся. Угольный лоток в будке пуст. Помощник кроет меня, кочегара, матом. Лезу на тендер. Бью ломом. Плачу. Лицо покалывает — прихватило морозом.

Бью и ненавижу железный прогресс движения, все большее количество технических вериг, надеваемых на себя человеком. Влетаем на станцию с длинным составом. Скорость большая. Заправляю на проволоке факел. Перед этим надо украсть горючее — промасленную шерстяную «куклу» из буксы чужого вагона (не по инструкции, конечно). Зажигаю. Спускаюсь на нижнюю ступеньку паровоза. Навстречу из белой круговерти летят сугробы, стрелки, столбы, штабеля шпал, пирамиды тормозных колодок, а они не из гачьего пуха, а из чугуна. Где-то в конце поезда приписанные к имуществу паровоза переходные цепи, соединяющие вагоны с разнородной сцепкой — автоматической и винтовой. Надо быстрее забрать их, три-четыре штуки, весом каждая ровно пуд, спешим взять новый состав, обернуться, работаем с тонны и километра, и работаем по лозунгу «Все для победы фронта!». «Уснул?» — кричит машинист, прибавляя и более энергичные слова, и я прыгаю, на скорости, наугад, всегда имея возможность свернуть шею, сломать позвоночник, выколоть глаза — зато не надо бежать в конец поезда: пока отряхиваюсь от снега, вагоны с цепями уже возле меня. Когда я стал помощником машиниста, жизнь кочегара показалась мне буколической идиллией, вымыслом аркадских пастушков. Все перечисленное выше — игрушки в сравнении с тем, что помощник машиниста должен в пути неустанно топить огромный котел (кочегары этому лишь учатся), на минутной остановке, при зеленом, успеть почистить топку — перевернуть шесть квадратных метров пылающего солнца, не потеряв пар, воду, огонь, вывалить несколько тонн раскаленного шлака, в котором под паровозом барахтается кочегар, прощупать машину, добавить смазки, следить за сигналами, дублировать машинистов, прийти на станцию с нагоном, а больше всего топить, приводя в движение две-три тысячи тонн поезда. Конечно, и кочегару хватает работы, паровоз не велосипед, а вычистить его надо от и до, ну и уголек с тендера, и шлак из поддувала, и бидоны со смазкой, едва не

отрывающие руки, пока их несешь, и заправка водой, топливом, песком. Машинист помогает обоим. Его основное дело знать профиль пути, пускать пар в цилиндры, следить за сигналами со своего правого крыла, умело пользоваться тормозным краном.

Наконец наступил мой час. Час любви к паровозу. В пути заболел машинист — сняли в больницу. С телеграфного разрешения начальника дороги я пересел с левого крыла на правое, взялся за реверс и кран машиниста и повел с кочегаром — на проход! — сквозняком! — по зеленой! — сдвоенный состав с танками в сторону фронта. Война не только тормозит, но и ускоряет — я уже машинист. Ехал со мной кочегар, салага, еще не внявший, что «наркомовская» (увеличенная) лопата такой же виртуозный инструмент, как смычок скрипки. Илья Муромец сложением, кочегар мог завалить топку углем до потолка, но дать пар еще не мог, не видел, не понимал, куда, в каком количестве, какой россыпью бросить уголь. Я поэтому сам делал пар и вел поезд. Я был горд, как ни один поэт. Весел, как сто сорок скоморохов при дворе короля Артура. Силен, как шестьдесят буйволов. Я вспомнил повадки и жесты Алексея Ивановича Кондакова, но еще по-крестьянски шепотом молился богу паровозов, обещая быть прилежным машинистом. Скорость падала — подъем. Я метался от топки к регулятору. Бешено негодуя на непосильную тяжесть, паровоз едва нервически не пробуксовывал — пробуксует, хана, растянемся. Даю песочек — под колеса. Колдую реверсом. Незаметно помогаю паровозу — давлю на будку животом до синяка. Выжимаю из себя все — так жокей у финиша хлещет коня по губам и ноздрям... И вдруг почувствовал — плавно, как в замедленном кадре, паровоз, моя милая «Елена» перевалил гребень, колеса застучали увереннее...

Тут самое время порвать поезд. И эту задачу решил, и захотелось соскочить с паровоза и бежать рядом — столько ликования. Счастье тоже может задушить, надо открыть предохранительный клапан

души — смех, юмор, иронию. Не имеющие этого — по существу ходячие мертвецы. И в огненной радости я рывкнул на кочегара: «Ты, бог, мешай воду в тендере!» Он воззрился на меня, чуя явный подвох, злую шутку, но я-то серьезен, и на моем лице еще следы страха, тревоги — и вот он пудовым резаком мешает воду в тендере. Я хохочу, как черт, впущенный в капище грешников: «Хватит! Иди крути буфер! Левый! Передний!» А впереди изумруды светофоров, волшебные камни пути. А сзади ширится четкая песня колес. Весенний ветер овеивает лицо суровой упругостью состязания. Танкисты машут мне шлемами. Танки мчатся на запад, на запад, на запад, к последним битвам в Берлине и Праге. На остановке танковый полковник сам налил мне из фляжки. Не положено в поездке, но выпили фронтовые сто граммов.

В трудные ночи моей жизни мне снятся паровозы с гаснущими топками — синие свечи. В годы процветания и надежд я веду во сне тяжелые поезда на подъем и просыпаюсь с сожалением, что сон кончен. Юное поколение никогда не видело паровозов, вымерших мастодонтов железных дорог, — только и остались в кино. Но и в будках электровозов и атомовозов сверкает точно такой же кран машиниста.